

Base

Любовь есть и в камне.
Здесь ищет она земные глубины.

Экхарт

Все вещи — в труде:
не может человек пересказать всего.

Екклесиаст

Часть первая

СЕРДЦЕ

І. О песне-заклятии

Сказывают, что началось все вечером.

Вечером солнце садится.
Песня над речкою мчится.
Кто за той песней увьется,
Из лесу тот не вернется.

— А чья это песня, дедушка? — спрашивает Куба.

Старый Мышка шамкает беззубым ртом. Не то слова какие-то говорит, не то просто по-старчески бормочет. Телега, нагруженная до краев глиной, подскакивает на ухабах. Старый Мышка и Куба едут из Копалина, потому что там самая лучшая во всей округе глина. Дорога еще далека, а в дороге, как известно, и петь хорошо, и истории всякие рассказывать.

Лесом, над дальней горою
Песня несется весною.
Чтобы спасти свою душу,
Песню лесную не слушай.

Старик облизывает потрескавшиеся губы, глядит на Кубу. Глаза у него ясные, и не заметны в них вовсе прожитые семьдесят две зимы.

— Как это чья? — спрашивает он. — Чья еще может быть? Русалочья!

Куба на это только презрительно сморкается, сначала с правой ноздри, потом с левой — и обсмаркивает себе портки, потому что повозку подкидывает на очередном камне. Заметив это, Старый Мышка хрипло хохочет, и от этого смеха у него трясется индюшачий зоб под шеей.

— Русалочья,— повторяет он под нос, как бы сам себе.

Смеркается, а здесь, в буковом лесу, уже вовсю правит ночь. Даже птицы все уснули, и лишь запоздалый дрозд упрямо выводит одну и ту же трель. Дикая сирень сводит с ума своим ароматом. Вот такой этот лес: буки, сирень и темнота.

— Они выходят в Иванову ночь на поляну — здесь она, неподалеку. И поют, и пляшут — мужиков завлекают. Коли услышишь их зов, скорей заткни уши воском, чтоб не слышать и не слушать. И песнь во славу Господа спой или майскую ектению Богоматери. И тысячу раз повторяй снова и снова: «Господи Иисусе! Господи, помилуй! Помилуй мя грешного!» — до тех пор, пока не войдут в тебя эти слова и не станут частью тебя. Потому что, если заслушаешься русалочьей песней — пропадешь. А коли отправишься за русалками подглядывать, то сгинешь и телом, и душой. Они ж в одних сорочках танцуют, и как увидишь их — уже не найдешь себе места на земле меж людей.

— Старый вы, дедушка, а у вас все одно на уме,— усмеяется Куба, но Старый Мышка ничего на это не отвечает. Возвращается только к своей песне:

Кто этой песней пленится,
В дебри лесные умчится,
Тот свою жизнь уничтожит,
Буйную голову сложит.

Деревья редеют, меж ветвей проглядывает синева ночи. Телега со скрипом катится по дороге вниз, к деревне. Солнце давно уже скрылось за горами, но свет все еще бьет, будто из-под земли, это песочная луна разливается над миром, золотит стрехи хат и крыши церквей.

Старый Мышка и Куба проезжают мимо оврага и качающихся над ним ив. Их двенадцать, и старик говорит, что ивы — это апостолы, а последнее дерево, увядшее и изъеденное червями, — Иуда Искарriot. Но Старый Мышка разные вещи рассказывает, и не следует во всем ему верить.

И пока они еще не доехали до деревни, Куба поднимается в повозке. Он стоит и прислушивается, но из леса не доносится ни одной песни. Лишь сверчки стрекочут в траве.

II. О лунном танце

Сказывают, что Куба и Старый Мышка служили в Каменницах в корчме Рубина Кольмана шабесгоями.

— Оймеле, айнекляйнемитешмок! И что же это такое? — Жид тыкал комок глины в нос то молодому, то старому работнику.— И это должно быть глиной? И это глина, я вас спрашиваю! Вот что значит гоев за глиной послать. Грязи и коровьего дерьма привезут!

На это ни Куба, ни Старый Мышка ничего не ответили, а дед даже принялся сворачивать самокрутку. Они знали, что Рубин должен как следует отойойкаться, потому что это единственное развлечение в его жизни. Чаще всего он жаловался на своих шабестоюв.

Шабестою делали в доме и корчме все то, чего иудею не позволял закон или просто было неохота, в шабат и не только. Куба и Мышка не жаловались, хотя ворчливый Рубин вечно чем-то был недоволен, рвал на себе бороду, извергал проклятья и поминал имя Господа всуе.

И все же Рубин был порядочным человеком, хотя и жидом. Впрочем, он и не мог быть другим. Имея старую, прикованную к постели жену, сына-раввина и дочь-мешугу, то есть сумасшедшую, нельзя быть плохим человеком. Возможно, поэтому Кольмана прозвали Колькопфом¹, даже особо этого не скрывая; все будто проверяли, может ли корчмарь по-настоящему рассердиться.

Работать на жида всяко лучше, чем на пана, потому что жид за работу платит, а по воскресеньям иногда ставит стопку водки. Но главное — жид не бьет. Пан же, по распоряжению Светлейшего Государя Кайзера из Вены, может за любую провинность назначить хаму двадцать и пять палок, а бабе и ребенку ничуть не меньше, только не палок, а березовых розог.

В тот вечер за окном разлилось белое сияние — луна взошла рано. В этом свете все выглядело даже четче, чем днем. Днем очертания смазываются и расплываются, а

¹ Кочан капусты. *Kohl* — нем. капуста, *kopf* — нем. голова. (Здесь и далее примечания переводчика.)

цвета перетекают один в другой, так что предметы порой будто спрятаны за пыльной занавеской или пеленой дыма. А лунной ночью все видится резким, будто выкроенным из бумаги. Только цветов меньше. Дом, корчма, склоненный колодезный журавль во дворе — черные. Свежие иголки на лиственницах у двора — пушистые и белые, более похожие на снег, чем на хвою. Такой мнимый еврейский день.

Куба уж собирается ложиться спать, но видит ее. Как обычно, она забирается на покатую крышу трактира, подобно ласке или ночному привидению. Высоко-высоко, до самого резного конька по обе стороны крыши.

Она немного отдыхает.

А потом начинает танцевать.

Она танцует с поднятыми руками, ступая мелким, дрожащим цыганским шагом. Откидывает голову то влево, то вправо, полусонно, полустрастно. Темные волосы следуют волной за ее движением, словно они наделены собственной, змеиной жизнью. Под луной ее четко видно, и кажется, будто она вырезана из черного эбонита. Куба знает, что такое эбонит, — у Рубина Кольмана есть шкатулка из эбонита, а у ясновельможного пана в усадьбе, в конторе — даже эбонитовая мебель. И сейчас, ночью, Кольманова дочка Хана вся черна, но прекрасна.

Днем она уже не будет столь красива, потому что день покажет угри на ее подростковом лице и слишком крупные зубы, кривые и торчащие, как у лупоглазой кобылы. Потому что на самом деле дочь Рубина тощая и страшная.

Но сейчас продолжается ночь, а у ночи свои законы.

Куба некоторое время наблюдает за девушкой, а потом выскальзывает из халупы. Он украдкой пробегает через двор и взбирается на курятник, а с него на карниз, проходящий вдоль всего верхнего этажа корчмы: отсюда можно без труда залезть на крытую черепицей крышу. Все это он делает тихо, осторожно, без единого звука, чтобы не спугнуть девушку и не всполошить всю семью Кольманов, готовых, как водится у жидов, наделать рейваха¹. Ибо Старый Мышка не раз и не два говорил, что людей, танцующих под луной, будить нельзя — душа их может испугаться и выскочить из тела. Правда, говорят, что у жидов нет души, но Куба все равно не хочет резко будить Хану, ведь она может всполошиться и упасть. Ибо днем, при свете солнца, девушка боится подняться даже на пятую перекладину лестницы, не то что на крышу.

Хана танцует на коньке и разбрасывает вокруг себя мелкие бумажки, клочки и обрывки. Они напоминают крупные снежные хлопья. На каждом листочке видна надпись, чуть длиннее или чуть короче, иногда это лишь один или два знака. Все написано по-еврейски, задом наперед, приземистыми, усталыми буквами, будто кем-то растоптанными и раздавленными. Возможно, это молитвы. Или же заклинания. А может, и то и другое, ибо сказано в Библии, что евреи с давних времен, от самого Авраама стремились навязать Богу разные вещи и подчинить его своей воле. И если кому и известны заклинания, коим подвластен сам Господь Бог, то только иудеям, и никому другому.

¹ Разг. слово, пришедшее в польский из идиша, одначает «шум, суматоха» (прим. ред.).

Хана танцует, а Куба приближается к ней по крыше, согнувшись, словно обезьяна из страны негров. Он нежно обхватывает вялые и холодные запястья девушки. Несколько мгновений — и они уже внизу. Жидовочка идет за Кубой покорно, как щенок, хотя по-прежнему пребывает в дивных краях своего воображения; если б он отпустил ее, она продолжила бы свой танец. Хана прижимается к Кубе всем телом, и странное чувство возникает в его сердце.

Сегодня вторник, а по вторникам в кабак никто не ходит, потому Рубин Кольман и его дочери ложатся спать рано. Парень колотит в кухонную дверь корчмы. Щелкает засов, и старый жид вылезает наружу, протирая склеенные сном веки.

— Айнеклайнемитешмок! Хана!

— Она снова танцевала на крыше. Присматривайте лучше за ней, когда светит луна.

— Зое пришлось оставить дверь на ауф. Спасибо, Куба. Хороший ты парень.

— Спокойной ночи, пан Кольман.

— И тебе хороших снов, Куба.

III. Об ивах и дожде

Сказывают, что во все макнули свои пальцы русалки.

Куба все время выпытывал о них Старого Мышку, ведь паренек просто обожал сказки. Старик же только посмеивался, и трудно было выудить из него что-либо новое, что-либо сверх того, о чем он уже говорил: что русалки

танцуют на лесной поляне от Иванова дня до святого Петропавла, а порой и поют, и главное — они голые. Много о чем уже сказывал старик: и о правившем в стародавние времена короле Бодзосе, которого повесили на горе под названием Мага, и о разбойнике Запале, и о колдуне Нелюдиме, и о Змеином Короле, и о злых ведьмах, докучающих людям, и о девушке с картофельного поля, что живет в поразившей клубни плесени, и об ивовом черте Залипачке, что разбил луну, и много еще о чем. Старый Мышка знал великое множество историй. Только почему-то о русалках больше рассказывать не хотел.

Однажды Куба шел к усадьбе в Седлисках на первый покос. Ну, а что остается делать крестьянину? Надо идти, если пан велит. Можно не иметь земли, можно быть шабесгоем — хам все равно остается собственностью помещика, как стадо или фруктовые деревья. Кубе идти совсем не хотелось, но он шел.

В долине было душно и парило, а в оврагах висел туман, белый и липкий, как сок луговых одуванчиков. Лень поразила даже мух и жуков, они вяло жужжали и легко позволяли прибить себя рукой. Был полдень, но зной стоял с самого утра, и Куба весь вспотел, пока добрался до ив-апостолов. До Седлиск оставалось меньше австрийской мили, и можно было не спешить. К вечерней косьбе он все равно успеет, ведь луг косят либо с утра, либо под вечер. В узелке приятно булькала черешневая памула¹ в глиняном кувшине; обед Кубе приходилось брать с собой, потому что сам помещик был сыт и никого

¹ Подкарпатский фруктовый суп.

на работе не кормил. Хлопец посмотрел вперед — никого, оглянулся назад — никого. Узелок прилипал к спине. Куба нырнул в тенистые заросли под ивами и стал жадно уплетать все, что у него было.

Кольманова дочка приготовила лучшую на свете памулу, а к ней положила и пять белых булок, невероятно вкусных, хотя и без закваски. За работой крестьянину надо есть, и только вельможный пан помещик считал иначе.

И не то из-за набитого брюха, не то из-за ленивого зноя, или же из-за тенистой зелени ив, а может, из-за зловредных духов, в этих ивах обитающих, — а скорее всего, из-за всего этого разом — сон накрыл Кубу вороньим крылом.

Его разбудил гром, низкий, такой, от которого дрожит земля. Паренек растерянно огляделся по сторонам. Небо уже затянуло свинцовой пеленой, а вдали по краям туч лилось зловещее зеленоватое сияние. Ветер с силой трепал ветки, завывал и рвал листья. Белые жилы молний бились о горизонт. Гроза приближалась с севера, и это было плохо, потому что грозы с равнин всегда хуже, чем с гор.

Куба уже собрался сорваться и бежать назад к корчме Кольмана, когда в ивовых кронах заметил девуку.

Она лежала на животе на наклонной ветке, подпирала подбородок одной рукой и нагло грызла последнюю булку Кубы. Все в девушке было каким-то водянистым, бесцветным до ужаса. И волосы, и глаза, и свободная, просвечивающая нижняя юбка. Она лениво помахивала лодыжками, глядела на Кубу не то с интересом, не то с насмешкой и совершенно не переживала из-за надвигающейся грозы.